

СЕСТРА МОЕМУ ДАРОВАНИЮ

Письма Б. Л. Пастернака будущей жене

Архив

И ОЧТИ половина писем Бориса Пастернака к жене Зинаиде Николаевне (1894—1966) датируется концом 1930-го — началом 1931-го. Поездкой в Грузию в июле 1931 года началась многолетняя совместная жизнь — переписка возобновлялась лишь при редких разлуках. Буквально не уместящееся на листах бумаги и выплескивающееся из почтовых конвертов чувство поэта к новой возлюбленной переплетается в письмах с бесчисленными проблемами: издательские сложности, финансовые заботы, отсутствие квартиры и т. п. Но главным и мучительным для обоих был груз семейных обязательств: для Пастернака — перед первой женой, Еленой Владимировной, и семилетним сыном, для З. Н. — перед мужем Генрихом Густавовичем Нейгаузом и двумя сыновьями...

«...Жизнь никогда не была для меня таким большим, таким прекрасным, таким облагораживающим выходом, как Вы», — писал Пастернак в декабре 1930-го и позже, уже в мае 1931 года: «...Мы удивительно суждены друг другу: тут что-то настолько неожиданно родное, что иногда мне кажется — что-то откроется впоследствии, как в драмах с запоздалым узнаванием, как-то вдруг все объясняющая биографическая подробность». Зимой Пастернак уходит из семьи, живет у друзей, в том числе у Бориса Пильняка. «Моей любви к тебе, которой так недавно приходилось одним движением губ исполнять Вагнера, мне хочется подарить теперь целый Лейпцигский оркестр», — читаем мы в февральском письме. В мае Евгения Владимировна с сыном уезжает в Германию, а вскоре З. Н. решает отправиться в Киев и там в одиночестве разобраться в своих отношениях с мужем и возлюбленным. В июне Пастернак ей пишет: «...Зарево, которым облита истекшая зима, ничего общего с людскими представлениями не имеет. Счастье, в нем заключенное, не по их специальности. Его слагают две вещи. Твое бессмертье женщины и бессмертье моего понимания тебя». В Киев адресованы и два предлагаемых читателю письма.

Любовные письма к З. Н., читая которые приходится постоянно преодолевать ощущение совершаемой нескромности, видятся лирической исповедью. Они тесно сплетены не только с книгой любовных стихов 1930—1931 годов «Второе рождение», но и с прозой. «...Я принялся за работу <...> Это та же зимняя проза, опять, как всегда, ты в центре...» — писал Пастернак в 1935 году. Законченные и сохранившиеся главы известны как «Начало прозы 1936 года». В центре сюжета Евгения Викентьевна Истомина, во всем вплоть до мелочей близкая к будущей героине «Доктора Живаго» Ларе. О внутренней необходимости написать роман, прототипом героини которого должна стать З. Н., Пастернак рассказывал в 1935 году сестре Жозефине Леонидовне: «...Знаешь, это мой долг перед Зиной — я должен о ней написать. Я хочу написать роман... Роман об этой девушке.

Сейчас вернулся, телеграмму отправил. Все время вижу вас обоих. Тебя и Адику, с закатом, англичанином и пр. Как чудесны эти первые часы пути, когда так облагораживающе сказывается усталость, и вдруг получаешь право молчать, сидеть на мягком диване и застывать на быстро сменяющихся картинах, — право, как бы заслуженное суматохой сборов и волнениями большого, рано начавшегося дня. Природа в дороге кажется наградой, которой тебя признали достойной, это возмущает и трогает, — почти что подымаешься в собственном мнении, — ты замечала? На днях я читал тебе Вс. Рождественского. Там о «березе, увиденной с поезда, над пролетающим прудом» —

...увидела. Когда я прочел у него это место, я именно вспомнил, что-то Киево-Воронежское, пошлое, годное, на первом перегоне от Москвы, когда садилось солнце и дым был розов, а березняк, ловивший его, — влажно лютарен. И так, теперь едете вы, ты с Адикой, — совсем как я тогда в Иппен.

А когда возвращаюсь на Волхонку, вижу Женю. Я вижу ее превращающим взглядом разлуки, и она у меня получается такой, какой была гимназисткой — поелестной, беззащитной, принимающей на себя мир, как дуновение ветра или тень, а не вонзающей в него взгляд или замысел или деятельное желание. И сердце исходит у меня болью о ней. О ней, а не по ней. Вот в том-то и дело, что ты есть, а то — должно было быть, и это не теперь, а так было всегда. И это не в укор ей. Я мало знал людей, которых бы так стоило и надо было бы любить, как ее, — и не за нравственные только качества, а и за внешность: за историю ее внешности, за судьбу этой внешности и ее метафороз.

Но так именно и любит большинство людей. Любят любовью дополняющей, довоспитывающей, отделяются завесой взаимных снисхождений от природы, и именно эту завесу зовут жизнью. Любят впрок за то, что набегут года и привычки, и осадут прошлым, и прошлого будет так много, что оно станет многотомной людской повестью, будет чем зачитываться и что вспоминать, любят за людскую повесть, которую пишет время, пишет независимо от того, о ком ее пишет и как бы не были малы описываемые и их помощь пишущему. И сами ничего не делают. Вечно делают за другого и ждуть, что он будет делать за тебя, и эту взаимопомощь, извещающую несовершенство, зовут любовью, а поклоненье несовершенству — нравственностью. Большинство любит любовью должной, а не той, которая есть.

Больше всего меня поразило, что объем моего чувства к тебе существовал раньше, чем я его измерила, что я любил уже тебя, до того как полюбить. Его не надо было хотеть звать или желать. Твоей самостоятельной красоте не надо было помогать. Она сама пробиралась ко мне тогда во сне невероятную радость того что ты существуешь: что в Иппене есть дачник, которого Ир. Серг. и Женя стали встречать раньше, чем увидал его я, и этот дачник — мое чувство к тебе, моя судьба с тобой, тогда еще неизвестная.

Это, с немыслимой чистотой, была любовь, которая есть, а не должна быть.

Вероятно одна и та же мысль мелькнула сейчас у нас обоих. Что все это под боком, что если бы не Гаррини³ страдания, можно было бы с Евг. Ис.⁴ или кем-нибудь еще съездить в Ирпень, посмотреть на те осенние недели и к вечеру вернуться в Киев.

Когда я с вокзала подымался на трамвае на гору к Арбату, я вспомнил, как проезжал тут с вещами вечером в сентябре. Мы только что расстались. В багажной суматохе ты не простила со мной. Я отвык от Москвы. За лето ее наконец замостили. Я нашел ее не такой ужасной, как оставил, и как изображали в письмах. Я разбегался глазами по ее толпам и огням, и собирав им свою оглушительно-

отчетливую новость: тебя, большую, большую во весь вечер и город, куда я въезжал, во всю зиму, которую предстояло начать и открыть в ней по приезде и размещении. Я знал все о себе, как никогда еще в жизни, но ничего не знал и не смел знать о тебе. Я не знал, полюбишь ли ты меня. Я об этом запрашивал вывески. Не помню ответов, но они не слишком часто отвечали мне, — что нет, потому что мне хорошо было на пролетке, в новом костюме, в той развально легкой позе, которая вызывалась горой чемоданов и тюков, отселившихся к краю, и развально покачиваемым коляскам. Я приехал домой веселым, верным и нетерпеливым и т. к. откуда было звонить тебе, то позвонил Асмусам. И только в середине зимы, ночью на Садовой, попробовал спросить тебя о том, о чем спрашивал вывески, и у меня это не вышло, и твой утвердительный ответ был полуротационным. — Думаю о том, как будет тебе среди киевских твоих друзей. Это может быть двойко. Либо, — если ты примиренным и просветленным найдешь на Гаррика, и цель поездки будет достигнута, тебе будет приятно среди них как приятен отдых в дороге. Либо же, если твоё вдохновение пропадет даром, они будут так же досадно ненужны и чужды тебе, как тогда мне Бобров⁵: как посягательство чего-то побежденного жизнью и несуществующего. И тогда останутся только Гаррик и Киев, с кем можно будет говорить.

Ничего не прибавляю и не приписываю. Разве ты не чувствуешь? Поскорее напиши мне. <12 мая 1931 г.>

Любушка, прелесть моя неслыханная! Я знаю, что хотя я хуже Гаррика, и даже сравнить ни с чем не смею твоей большой и истинной жизни с ним, но что твоя встреча со мною перемещает твою судьбу в какую-то более ей сужденную и более ее выражающую обстановку не благодаря мне, а той случайности, что с детства я поглощен тем самым, из чего ты вся соткана, тем настоящим, что условно и после многих видоизменений зовут мировой поэзией и что посвящено слушанию жизни и женщины в глубочайших их первопродности, как воздух предназначен для передачи звука. Это я знаю, это несомненно для меня, что, стало быть с твоей стороны это не ошибка, что что-то старинное, давнишнее, какой-то твой врожденный лейтмотив освобождался и получает власть при этом, что какие-то вещи, казавшиеся

прекрасной, совращенной с пути истинного... Красавица под вуалью в отдельных кабинетах ночных ресторанов, Кузен ее, гвардейский офицер, водит ее туда. Она, конечно, не в силах противиться. Она была так юна, так неказанно притягательна...» Также, прочтя в письме конца июня 1931 года: «...все, что я писал о Маяковском, я писал обо мне и о тебе», невольно воспринимая главу «Охранной грамоты», посвященную Маяковскому и Веронике Полонской, как продолжение одного из писем к З. Н.

Все письма Пастернака 1930—1950 годов отличает необычайная откровенность, что в тогдашних условиях было смелостью, граничащей с безрассудством. З. Н. сыграла немалую роль в последней попытке поэта внутренне принять существующий политический строй («ты близкая спутница большого русского творчества, лирического в годы социалистического строительства, внутренне страшно на него похожая — сестра его») — попытке, приведшей к беспрецедентному для Пастернака сближению с властью в первой половине 30-х годов. В то же время именно в письмах к жене особенно выразительны суждения о времени и окружающих. Замечательна характеристика советской литературной номенклатуры в военном письме августа 1941 года: «Меня раздражает все еще сохраняющийся идиотский трафарет в литературе, в делах печати, цензуре и т. д. Нельзя после того, как люди нюхнули порохи и смерти, посмотрели в глаза опасности, прошли по краю бездны и пр. и пр., выдерживать их на той же глупой, безотрадной и обязательной малосодержательности, которая не только на руку власти, но и по душе самим пишущим, людям, в большинстве неталантливым и творчески слабосильным с ничтожными аппетитами, даже и не подозревающим о вкусе бессмертия и удовлетворяющимся бутербродами, ЗИСами и эмками и тартинками с двумя орденками». В августе 1941 года Пастернак писал З. Н. в Чистополь: «Нельзя сказать, как я жажду победы России и как никаких других желаний не знаю. Но могу ли я желать победы ту-поумию и долговечности пошлости и неправды». С предельной отчетливостью обрисовывает Пастернак и послевоенную атмосферу в письме 1948 г.: «...всеобщее вранье и бедствие снизу доверху, и людям ничего не остается, как только врать и погубить. Конечно, это хуже войны, потому что война это смертельная и быстро разрешающаяся катастрофа, а этот порядок — смертельная катастрофа, надолго затягивающаяся. И ты тоже дикая дурка и не понимаешь, что, будучи связана со мною, ты избавлена от главного несчастья — от необходимости врать и обманываться и плести обязательную чепуху вслед за всеми...»

Многие письма к З. Н. уже публиковались на страницах журналов и газет (правда, по непроверенным копиям с значительными ошибками в датировках и текстах). Полное их собрание, снабженное необходимым аппаратом, год назад было подготовлено мною для издательства «Дом» Всесоюзного детского фонда. Однако в нынешних условиях советского книжно-бумажно-издательского «рынка» неясно, осуществится ли когда-нибудь их издание.

слабостями или ошибками, и отложившие в жизни нечто подобное рубцу, неожиданнейшим образом оборачиваются к лучшему и вдруг показывают свой истинный смысл, которому можно радоваться и которым можно дышать и гордиться, что весь судьбы, в большинстве случаев болтающиеся во все стороны и так, что их движение перестает что-нибудь выражать и ничего не доказывает, выравниваются у тебя в соседстве со мною, и начинают ходить по одной плоскости, вырастая в одно спокойное измерительное показанье, когда твоя жизнь начинает означать тебя почти так же прямо, как в детстве, — тебя и твой удивительный, тебе ведомый и до слез меня поражающий душевный вес. Это я знаю.



И я знаю, что так, как я люблю тебя я не только никого никогда не любил, но и больше ничего любить не мог и не в состоянии, что работа и природа и музыка настолько оказались тобой и тобой оправданы в своем происхождении, что — непостижимо: что бы я мог полюбить еще такого, что снова не пришло бы от тебя и не было бы тобой. Что ты такое счастье, такое подтверждение давно забытой моей, моей особенной способности любить, такая разгадка всего моего склада и его предшествующих испытаний, такая сестра моему дарованию, что именно чудесность этого счастья именно ты, невероятная, неподобная, боготворимая (сколько лет прошло, и ты все-таки оказалась на свете) и я увидел тебя и пишу тебе и буду жить этим, немыслимо золотой этой жизнью с тобой и умру с твоим именем на губах! — именно ты своей единственностью даешь мне впервые чувство единственности и моего существования. — И это я знаю еще проще и тверже первого.

Но когда приходят твои письма (зелеными чернилами, например, с приложением Яшвилино-го), твоё бездонная непосредственность и сердечность превышают мои ожидания. Ты настолько оказываешься совершеннее того большого, что я думаю о тебе, что мне становится печально и страшно. Я начинаю думать, что счастье, которое кружит и подымает меня, предельно для меня, но для тебя еще не окончательно полно. Что я не охватываю тебя, что как ни смертельно хороша ты в моем обожании, в действительности ты еще лучше. Что этот избыток остается за краем, где тебе печально, потому что твоё превосходство надо мною заброшено в одиночество, куда мне никогда не достигнуть и не забросить, моей радости, моей человеческой и художнической службе тебе. Что того

счастья, какое даешь и будешь давать ты мне, мне тебе не дать. — Ну а вдруг я еще вырасту, в погоне за этим твоим последним.

Как удивительно ты пишешь, как плохо себя знаешь, как мало ценишь! — До сих пор все это было разговором с твоим письмом, с его музыкой. Я должен был сперва ответить ему, прежде чем отвечать тебе на него. Потому что и его хочется целовать и невозможно не восхищаться, как тобой.

Но тебе я отвечаю на словах при встрече. Потому что в письмах я впадаю в мучительное многословие. Что оно непростительно для писателя, так это с полбеды. Но оно недопустимо перед тобой. Оно искажает так много молниеносно-подлинного и прямо вызванного тобой! Эти искры говорят о твоём ударе и

могли бы тебя радовать, из моих же писем ты узнаешь о них меньше, чем если б я молчал.

Я болел тобой и недавно выздоровел и про все это расскажу тебе устно. Но что-бы выражение «выздоровел» ты не поняла превратно, — вот в чем было дело. У меня был досуг при редких, для работы, условиях, и свежа была память об апреле, когда я отхватав больше тысячи едаз замечая, как это делалось, — я должен был теперешний досуг употребить с пользой, кроме того мне страшно хочется умножить твои стихи и увидеть осенью твою книгу, и вот я с ужасом убеждался в том, что это не выходит и мне разлуки с пользой не употребить. Я почувствовал себя как-то материально виноватым перед тобой и это чувство преследовало и терзало меня. Я понял, что я не отделим от тебя и был болен этим чувством, пока считал его виной пред тобой, до самого недавнего времени, когда вдруг то же чувство неотделимости показало мне моей силой и правотой пред тобой и все во мне просветлело. Так я и выздоровел. И едва я извинил это состояние, как само собою это открылось стало мне темой, и поэзия вернулась, точно прощенная, и тут я стал прочно навсегда звать тебя женою, тем самым словом, которому ты противилась в письме, и с которым я теперь не могу расстаться, потому что я так полюбил его на тебе, как звуки Зина и Лля, и это имя моего выздоровления и оно значит окончание повести и выход с тобой через революцию к какому-то последнему смыслу родины и времени и нашу будущую зиму с тобой и нашу через год, заграничную поездку, Люблю, люблю, душу тебя в своих объятьях, кончаю в слезах, люблю, мои слова не навязываю, во всех устройствах буду следовать за твоей мечтой.

Телеграфируй, дошло ли письмо, не только в пространстве, сижу в ожидании денег, как буд-дуть, выведу. Будь счастлива и спокойна.

<конец июня 1931 г.>

Примечания

1. Адриан Генрихович Нейгауз (1925—1945), старший сын З. Н.
2. Ирина Сергеевна Асмус, подруга З. Н., первая жена философа В. Ф. Асмуса.
3. Гарри, Гаррик — Г. Г. Нейгауз.
4. Евгений Исаакович Перлин, киевский знакомый З. Н.
5. Сергей Павлович Бобров (1889—1971), поэт, друг юности Пастернака, пытался отговорить его от разрыва с первой женой.

Вступительная заметка, публикация, примечания К. ПОЛИВАНОВА